



Электронная библиотека
Гражданское общество в России

Б. О. Констан

О свободе у древних в ее
сравнении со свободой
у современных людей

Электронный ресурс

URL: http://www.civisbook.ru/files/File/1993-2-Konstan-O_svobode.pdf

URL: <http://www.civisbook.ru>

О СВОБОДЕ У ДРЕВНИХ В ЕЕ СРАВНЕНИИ СО СВОБОДОЙ У СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Бенжамен Констан

Новую рубрику "Антология политической мысли" журнал открывает произведением Бенжамена Анри Констан де Ребека (1767—1830). В отечественных энциклопедических изданиях его обычно представляют как писателя, политического деятеля, публициста. Но Б. Констан был также проницательным философом, чьи идеи и в наши дни не потеряли актуальность. Б. Констан принадлежит к теоретикам либерализма, стремившимся осмыслить уроки Великой французской революции, предложить такие модели социально-политического устройства, которые, исключив возможность возвращения кровавой диктатуры, закрепили бы позитивные результаты, произошедшие после 1789 г. Публикуемая работа Б. Констан по форме — блестящая лекция-речь (по-французски — *discours*). По содержанию же это глубокое сравнительно-историческое политологическое исследование. Показывая качественно различные основания свобод и демократии в античных и современных обществах, Б. Констан делает выводы о пагубности механического перенесения институтов и принципов древности в Новое время, об органической связи прав личности с институтом собственности.

Господа,

Я собираюсь показать вам некоторые различия между двумя видами свободы. Различия эти оставались до сих пор незамеченными или, по крайней мере, на них очень мало обращали внимания. Первая из свобод была столь дорога исповедовавшим ее древним народам; владение второй особо ценным представляется современным нациям. Такое исследование, если я не ошибаюсь, может быть весьма интересным в двух отношениях.

Во-первых, смешение двух этих видов свобод нашими современниками явилось причиной многих несчастий в слишком знаменитые времена кашей революции. Франция чувствовала себя изнуренной бесплодными действиями, которые творили люди, озлобленные малыми успехами их предприятия. Эти люди пытались принудить страну воспользоваться благом, которое она не желала, и отнять у нее то, к чему она стремилась.

Во-вторых, поскольку мы призваны нашей счастливой революцией (вопреки всем бесчинствам я называю ее счастливой, так как исхожу из результатов) воспользоваться благами представительного образа правления, было бы полезно и любопытно изучить, почему такое уложение, единственное, под сенью которого мы можем сегодня изыскать некоторую свободу и отдохновение, было почти совершенно неведомо свободным нациям античности.

Мне известны попытки распознать следы представительного правления у некоторых древних народов, например, в республике Лакедемон (2) или у наших предков галлов, но они были напрасны.

Лакедемоном управляла религиозно-кастовая аристократия, но там отнюдь не существовало представительное правление. Власть царей была ограничена, но ограничивалась она эфорами (3), а не людьми, наделенными полномочиями, схожими с теми, коими выборы в нынешние дни наделяют защитников наших свобод. Конечно, членов эфоры после ее учреждения царями называл народ. Но эфоров было только пятеро. Их авторитет носил столь же религиозный характер, сколь и политический; они участвовали в деятельности правительства, т. е. в отправлении исполнительной власти; тем самым, как это было почти во всех народных магистратах античных республик, прерогативы эфоров далеко не были заслоном для тирании, но в ряде воплощали саму непереносимую тиранию.

De la liberte des anciens comparee a celle des modernes. Лекция, произнесенная в Королевском атенеуме. Париж, 1819 г. (1). Публикуется по изданию: Constant B. *De la liberte chez les Modernes. Ecrits politiques.* Hachette. P., 1980.

Режим галлов, так похожий на тот, который определенная партия хотела бы нам навязать, являлся одновременно теократическим и воинственным. Священнослужители обладали безграничной властью. Класс военных, или знать, имел неслыханные и притеснительные для всех других привилегии. У народа же не было ни прав, ни гарантий.

Миссия римских трибунов носила в некоторой мере репрезентативный характер. Они представляли собой органы того плебса, который олигархия, одинаковая во все времена, свергнув царей, подвергла жесткой эксплуатации. Тем не менее народ обладал большой

частью прямых политических прав. Он собирался, чтобы голосовать за законы, чтобы судить обвиняемых патрициев; таким образом, в Риме были лишь очень слабые признаки представительной системы.

Эта система — открытие современников, и вы увидите, господа, что состояние рода человеческого в античности не благоприятствовало введению или укоренению данной формы правления. Древние народы не могли ни прочувствовать ее необходимость, ни оценить ее преимущества. Их социальная организация принуждала их желать свободы, совершенно отличной от той, которую обеспечивает нам подобная система.

Доказательству данной истины будет посвящена эта вечерняя лекция.

Прежде всего, господа, зададимся вопросом, какой смысл в наши дни вкладывает в понятие свободы англичанин, француз или житель Соединенных Штатов Америки?

Это право каждого подчиняться одним только законам, не быть подвергнутым ни дурному обращению, ни аресту, ни заключению, ни смертной казни вследствие произвола одного или нескольких индивидов. Это право каждого высказывать свое мнение, выбирать себе дело и заниматься им; распоряжаться своей собственностью, даже злоупотребляя ею; не испрашивать разрешения для своих передвижений и не отчитываться ни перед кем в мотивах своих поступков. Это право каждого объединяться с другими индивидами либо для обсуждения своих интересов, либо для отправления культа, избранного им и его единомышленниками, либо просто для того, чтобы заполнить свои дни и часы соответственно своим наклонностям и фантазиям. Наконец, это право каждого влиять на осуществление правления либо путем назначения всех или некоторых чиновников, либо посредством представительства, петиций, запросов, которые власть в той или иной мере принуждена учитывать. Сравните теперь эту свободу со свободой у древних.

Последняя состояла в коллективном, но прямом осуществлении нескольких функций верховной власти, взятой в целом, — обсуждении в общественном месте вопросов войны и мира, заключении союзов с чужеземцами, голосовании законов, вынесении приговоров, проверки расходов и актов магистратов, их обнародовании, а также осуждению или оправдании их действий. Но одновременно со всем этим, что древние называли свободой, они допускали полное подчинение индивида авторитету сообщества, как совместимое с коллективной формой свободы. Вы не найдете у них практически ни одного из тех прав, которые составляют содержание свободы наших современников. Все частные действия находятся под суровым надзором. Личная независимость не простирается ни на мнения, ни на занятия, ни тем более на религию. Возможность избирать свою веру, возможность, которую мы рассматриваем как одно из наших самых драгоценных прав, показалось бы в древности преступлением и святотатством. В делах, представляющихся нам самыми ничтожными, авторитет общественного организма довлеет волей индивидов и угнетает ее. У спартанцев Терпандр (4) не мог добавить лишнюю струну к своей лире, не оскорбив эфоров. Власть вмешивалась и в самые обычные домашние дела. Молодой лакедемонянин не мог свободно посещать свою супругу. В Риме цензоры так же направляли свой испытывающий взор на семейную жизнь. Законы управляли нравами, а поскольку нравы простираются на все, то не было ничего, что не регулировалось бы законами.

Таким образом, у древних индивид, почти суверенный в общественных делах, остается рабом в частной жизни. Как гражданин, он решает вопросы войны и мира; как частное лицо, он всегда под наблюдением, ограничивается и подавляется во всех своих побуждениях; как частица коллективного организма, он вопрошает, осуждает, разоблачает, изгоняет в ссылку или предает смерти своих магистратов или начальников; но, будучи подчиненным коллективному организму, он, в свою очередь, мог быть лишен положения, достоинства, проклят или умерщвлен произволом сообщества, частицей которого является. У наших современников, напротив, независимый в частной жизни индивид суверенен в политике лишь по видимости даже в самых свободных государствах. Его суверенитет ограничен, почти всегда лишен основания; и даже если в определенные, но достаточно редкие времена индивид, опутанный различными мерами предосторожности и оковами, и может осуществить этот суверенитет, то лишь затем, чтобы отечься от него.

Господа, я должен здесь приостановиться, чтобы предварить замечание, которое вы могли бы мне сделать. В античности существовала республика, где подчинение

индивидуального существования коллективному организму не было таким полным, как я только что описал. Это самая знаменитая из всех республик — вы догадываетесь, я веду речь об Афинах. Я еще вернусь к этому вопросу, и, признавая справедливость самого факта, объясню его причину. Мы увидим, почему во всех древних государствах Афины более других походят на нынешние государства. Во всех иных государствах общественная юрисдикция была безграничной. Как говорит Кондорсе (5), люди античности не имели никакого понятия об индивидуальных правах. Они были только машинами, ход которых направлялся законами. Та же подчиненность характеризует и золотой век римской республики — индивид был в некотором роде растворен в нации, гражданин — в городе-полисе.

Обратимся теперь к истокам столь существенного различия между нами и древними.

Все античные республики были замкнуты в узких границах. Самую населенную, могущественную и значительную из них нельзя сравнить по размерам даже с мельчайшим современным государством. Неизбежным следствием такого размера этих республик был их воинственный дух; каждый народ постоянно сокрушал своих соседей или был сокрушаем ими. Вынужденно противопоставленные, эти народы беспрестанно то воевали, то угрожали друг другу. Даже те, кто не хотел быть завоевателем, не мог сложить оружие из-за угрозы быть завоеванным. Все покупали свою безопасность, свою независимость, все свое существование ценой войны. Она была постоянным интересом, почти обычным занятием свободных государств античности. Наконец, как неизбежное следствие такого образа жизни, все государства имели рабов. Механические виды деятельности, а у некоторых народов и производительные работы, были вверены закованному в цепи рукам.

Современный мир являет нам совсем иную картину. Самые маленькие из наших сегодняшних государств несравненно более обширны, нежели Спарта или Рим на протяжении пяти веков. Даже разделение Европы на многие государства благодаря прогрессу века Просвещения — скорее видимость, чем реальность. Если раньше каждый народ образовывал изолированное семейство, от рождения своего враждебное другим, то сейчас огромные массы людей, существуя под разными именами, имея различные способы социальной организации, однородны по своей природе. И эта природа достаточно сильна, чтобы не бояться варварских орд. И она достаточно просвещена, чтобы война была ей в тягость. Она всецело стремится к миру.

Из данного различия вытекает следующее. Война предшествует коммерции, ибо война и коммерция представляют собой ни что иное, как два различных способа достижения одной цели: обладать тем, чего желаешь. Коммерция есть только дань силе обладателя со стороны того, кто стремится к обладанию. Это попытка по взаимному согласию получить то, что не надеются больше получить насильем. У самого сильного всегда и среди всех человека никогда не возникнет идея торговли. Только опыт, доказывающий ему, что война, то есть употребление своей силы против силы другого, подвергает его разным испытаниям и поражениям, толкает на путь торговли — средства более мягкого и более верного, чтобы заинтересовать другого уступить то, что соответствует собственным интересам. Война — это порыв, торговля — расчет. Но именно поэтому должно наступить время, когда торговля заменит войну. Мы подошли к такому времени.

Я не хочу сказать, что в древности не было торговых народов. Но они были своего рода исключением из общего правила. Рамки лекции не дают мне возможность указать вам на все препятствия прогрессу торговли в античности; впрочем, вы знаете о них не меньше моего; я назову лишь одно. Незнание компаса принуждало мореплавателей по возможности не терять из виду берега. Проход через Геркулесовы столбы, то есть через Гибралтарский пролив, рассматривался как наисмелейшее предприятие. Финикийцы и карфагеняне — самые искусные из навигаторов — осмелились на это гораздо позже, и их пример долгое время оставался без подражания.

В Афинах, о которых мы вскоре поговорим, морем интересовались 60% граждан, но лишь для 12 из ста это было обычным делом — настолько идея дальнего плавания связывалась с опасностью.

Кроме того, если бы я пустился в рассуждения, к несчастью, обещающие быть чересчур длинными, я бы подробно показал вам, господа, черты нравов, привычек, способов промысла торговых народов античности: сама их коммерция была, так сказать,

проникнута духом эпохи, то есть атмосферой войны и враждебности. Торговля была счастливым исключением; это только сегодня она — обычное явление, единственная цель, всеобщая тенденция, подлинная жизнь наций. Последние желают мира, а вслед за миром — достатка, и как его источника — производства. Война по-прежнему наиболее эффективное средство исполнения желаний. Но она не дает более ни индивидам, ни нациям тех прибылей, которые сравнимы с результатами мирного труда и регулярного обмена. У древних удачная война пополняла общественное и личные состояния рабами, данью, землей. У наших современников даже удачная война отнимает гораздо больше, чем дает.

Наконец, благодаря коммерции, религии, интеллектуальному и нравственному прогрессу рода человеческого у европейских народов нет больше рабов. Свободные люди должны заниматься всеми профессиями, исполнять все общественные потребности. Вы наглядно видите, господа, необходимый результат этих различий. Во-первых, обширность страны уменьшает политическую значимость каждого индивида. Самый незнатный гражданин Рима или Спарты был силой. Совсем иначе обстоит дело с простым гражданином Великобритании или Соединенных Штатов. Его личное влияние совершенно неощутимо в общественной воле, диктующей направление в руководстве страной. Во-вторых, уничтожение рабства отняло у свободного населения часы досуга, образовывавшееся благодаря тому, что рабы исполняли большую часть тяжелых работ. Если бы не было рабов, 20 тысяч свободных афинян не смогли бы ежедневно свободно дискутировать на городской площади.

В-третьих, в отличие от войны коммерция не оставляет в жизни человека промежутков бездействия. Постоянное осуществление политических прав — ежедневное обсуждение государственных дел, дискуссии, собрания, участие в чередовании и движении политических факций входило в обязательный распорядок дня, если можно употребить этот термин, свободных народов античности. Не будь этой деятельности, они истомились бы от болезненного бездействия. Но у наших современников такая деятельность вызвала бы лишь беспокойство и усталость. Человек, занятый собственными делами, своим предпринимательством, благами, которые он имеет или надеется получить, может отвлечься от всего этого лишь на самое короткое время.

Наконец, занятия коммерцией вызывают у людей живое стремление к личной независимости. Коммерция удовлетворяет их нужды, исполняет желания без вмешательства властей. Мало того: такое вмешательство почти всегда (я даже не знаю, почему говорю "почти") есть только помеха и тягость. Всегда, когда коллективная власть хочет вмешаться в частный расчет, она лишь досаждаёт человеку. Всякий раз, когда правители пытаются сделать за нас наши дела, они делают это гораздо хуже и расточительнее нас.

Я обещал вам, господа, рассказать об Афинах; их пример можно было бы противопоставить некоторым моим утверждениям, но он, напротив, подтверждает их все.

Как я уже признал, из всех греческих республик Афины были самой торговой и, кроме того, они давали своим гражданам несравненно большие индивидуальные свободы, чем Рим и Спарта. Если бы я мог входить в исторические детали, я бы показал, что под влиянием коммерции у афинян исчезли многие из свойств, отличающие древние народы от современных. Торговый дух Афин схож с духом сегодняшних коммерсантов. Ксенофонт повествует, что во время Пелопоннесской войны афинские торговцы изымали свои капиталы из предприятий на материке и переводили средства на острова архипелага. Коммерция создала там товарооборот. У Исократы можно обнаружить упоминания об использовании закладных писем. Вы видите, таким образом, сколь нравы афинян были схожи с нашими. В их отношениях с женщинами (я опять-таки цитирую Ксенофонта) вы можете заметить удовлетворенность мужей миром и пристойной дружбой в доме; они считаются со слабой природой женщины, закрывают глаза на непреодолимую власть страстей, прощают первую слабость и забывают вторую. Что касается отношений с иностранцами, то афиняне легко наделяли правами гражданства тех, кто приезжал к ним с семьей, занимался ремеслом, основывал дело. Наконец, нельзя не поразиться их чрезмерной страсти к личной независимости. В Лакедемоне, говорит философ, граждане прибегали по первому зову магистрата, но афинянин был бы в отчаянии, если бы кто-то счел его зависимым от властей*.

Тем не менее, поскольку иные обстоятельства, решающие в характере древних народов, были присущи также и афинянам; поскольку в Афинах существовали рабы и их территория была очень ограниченной, мы находим там все признаки той свободы, которая была свойственна античности. Народ создает законы, контролирует поведение магистратов, требует отчета у Перикла, осуждает на смерть всех военачальников, руководивших сражением при Аргинусских островах. В то же время остракизм, который кажется и должен казаться нам сегодня вопиющим беззаконием, этот законный произвол, восхваляемый всеми законодателями того времени, доказывает, что индивид в Афинах был еще полностью подчинен верховной власти общественного тела, чего не найти ныне ни в одном из свободных социальных государств Европы.

Из всего сказанного следует, что мы не можем более следовать античному типу свободы, состоявшему в деятельном и постоянном участии в коллективной реализации власти. Наша свобода должна заключаться в мирном пользовании личной независимостью. То участие, которое в античности каждый принимал в осуществлении национального суверенитета, не было, как сегодня, пустой абстракцией. Воля каждого имела реальное влияние, реализация этой воли доставляла живое и постоянное удовлетворение. Вследствие этого античный человек был способен на большие жертвы ради сохранения своих политических прав, своей доли участия в управлении государством. Каждый с гордостью ощущал цену своего голоса, находил значительное удовлетворение в осознании своей личной значимости.

* В рукописи лекции автор делает любопытную ремарку: "Если вполне современный характер Афин не был в достаточной мере отмечен, то лишь потому, что общий дух эпохи влиял на афинских философов: они всегда писали ровно противоположное бытующим национальным нравам". Ниже следует еще одно содержательное замечание в адрес философов: "Единственным классом у древних, обнаруживавшим нечто вроде личной независимости, были философы. Но их независимость состояла в отказе от всех благ и жизненных пристрастий. Наша свобода, напротив, ценна для нас только тем, что может гарантировать нам эти блага и позволить такие пристрастия". (Примечание публикатора текстов Б. Констан — Марселя Гоше).

Для нас такого удовлетворения уже не существует. Человек, растворенный в толпе, почти никогда не замечает оказываемого им влияния. Его воля всегда тонет бесследно в общем потоке, ничто не дает ему знак его сотрудничества в общем деле. Таким образом, осуществление нами политических прав не приносит нам и части того удовлетворения, которое находили в этом древние. В то же время прогресс цивилизации, коммерческие веяния эпохи, связи между народами бесконечно умножили и разнообразили средства достижения личного благополучия.

Из сказанного следует, что мы должны быть привязаны больше, чем древние, к нашей личной независимости. Древние, жертвуя этой независимостью ради политических прав, жертвовали меньшим ради достижения большего; мы же, идя на подобные жертвы, отдавали бы большее за меньшее.

Целью древних было разделение общественной власти между всеми гражданами страны. Это-то они и называли свободой. Цель наших современников — безопасность частной сферы; и они называют свободой гарантии, создаваемые общественными институтами в этих целях.

Вначале я говорил, что во время нашей долгой и бурной революции правители, имевшие, впрочем, самые благие намерения, пренебрегли указанными различиями, чем причинили бесчисленные несчастья. И пусть мои слишком строгие упреки в их адрес будут неуютны Богу: их ошибка даже была простительна. Невозможно читать прекрасные страницы античных авторов, невозможно представлять действия этих великих людей, не испытывая тех особых эмоций, которые не вызывает в нас ничто из сегодняшнего бытия. При этих воспоминаниях в нас просыпаются, казалось бы, элементы природы, предшествовавшей нашей. Трудно не сожалеть о тех временах, когда человеческие способности развивались в заранее предначертанном направлении, но на поприще столь обширном, столь сильном от собственной силы этих способностей, с таким ощущением энергии и достоинства. И коль скоро мы выражаем чувство сожаления, то невозможно не захотеть подражать тому, о чем сожалеешь.

Это впечатление было тем более глубоким, когда мы жили под властью злоупотреблявших своим положением правителей, которые, не обладая силой, были притеснителями, нелепыми в своих принципах и ничтожными в действиях; правителей, прибегающих к произволу с целью унижить род человеческий. И хотя еще сегодня

отдельные люди осмеливаются превозносить этих правителей, мы никогда не сможем забыть, что были свидетелями и жертвами их упрямства, беспомощности и ниспровержения.

Цель наших реформаторов была благородна и смела. Кто из нас не слышал, как бьется сердце в надежде вступить на путь, который они, как казалось, открыли? И несчастен тот, кто еще и сегодня не испытывает необходимости признать, что уяснение некоторых ошибок, совершенных нашими первопроходцами, не означает очернения их памяти и отказа от идей, которые исповедовали друзья человечества из века в век.

Но эти люди черпали некоторые свои теории в работах двух философов, которые и сами не догадывались об изменениях, привнесенных двумя тысячелетиями в устройство рода человеческого. Когда-нибудь я, может быть, возьмусь проанализировать систему самого знаменитого из них — Ж. -Ж. Руссо. И я покажу тогда, что перенося в наши времена понятия общественной власти и коллективного суверенитета, принадлежащие другим эпохам, этот великий гений, вдохновленный наичистойшей любовью к свободе, создал тем не менее пагубные предпосылки для нескольких видов тирании. Без сомнения, рассказывая о том, что именно я рассматриваю как серьезную ошибку, требующую опровержения, я буду осмотнительным в своем отрицании и почтительным в осуждении. Я ни в коей мере не хотел бы присоединиться к хулителям великого человека. И я испытываю недоверие к самому себе, когда случайно схожусь с ними в каком-то пункте. Но это сходство внешнее, по отдельным и частным вопросам. И когда оно обнаруживается, я нахожу утешение, отмежевываясь от мнимых помощников, опровергая их, насколько это в моих силах.

Тем не менее стремление к истине должно взять верх над столь сильными чувствами, которые вызывают блеск необыкновенного таланта и авторитет превеликой славы. Впрочем, как мы увидим в дальнейшем, ошибкой, с которой я борюсь, мы обязаны вовсе не Руссо — она в большей степени принадлежит одному из его последователей, менее красноречивому, но не менее суровому и в тысячу раз более чрезмерному в суждениях. Речь идет об аббате де Мабли, которого можно рассматривать в качестве представителя системы, пытающейся, в полном соответствии с принципами античной свободы, подчинить граждан во имя суверенитета нации, превратить человека в раба во имя свободы народа.

Аббат де Мабли, как Руссо и многие другие, вслед за древними принял власть общественного тела за свободу, вследствие чего все средства казались ему благими для распространения действия этой власти на упорно не желающую ей подчиниться часть человеческого существования, о независимости которого Мабли так сожалел. Во всех своих сочинениях он сокрушается по поводу того, что закон распространяется только на действия. Он хотел бы, чтобы ему подчинялись также мысли, самые мимолетные впечатления, чтобы закон преследовал человека, не давая ему ни отдохновения, ни приюта, в котором можно было бы укрыться от его, закона, всевластия. Как только Мабли замечал у какого-либо народа меру принуждения, то полагал это своим открытием и тут же предлагал ее в качестве образца для подражания. Он ненавидел личную свободу, как ненавидят кровного врага. И едва Мабли встречал в истории нацию, начисто этой свободы лишенную (речь идет даже не о политической свободе), он не мог не восхищаться ею. Этот философ приходил в восторг от египтян поскольку, как он сам говорил, у них все было подчинено закону, вплоть до отдыха, вплоть до потребностей; все покорялось владычеству законодателя, все минуты дня были заняты выполнением каких-то обязанностей. Даже любовь покорялась этому чтимому вмешательству, и именно закон то открывал, то закрывал доступ к брачному ложу.

Еще больший энтузиазм у философа вызывала Спарта, объединившая республиканские формы правления с подобным египетскому порабощению индивидов. Этот обширный монастырь представлялся ему идеалом совершенной республики. Он глубоко презирал Афины и охотно отнес бы на счет этой наиглавнейшей в Греции нации слова, сказанные одним сверхважным академиком о Французской Академии: "Какой чудовищный деспотизм! Там все делают то, что хотят!" Я должен добавить, что он говорил об Академии, какой она была тридцать лет назад.

Монтескье, наделенному наблюдательным умом, поскольку он имел менее горячую голову, удалось практически избежать этих ошибок. Он был поражен различиями, о которых я говорил выше, но не распознал их истинную причину. "Греческие политики, — писал он, — жившие при народном правлении, не признавали иной силы, чем силы

добродетели. Сегодняшние же политики говорят нам только о мануфактурах, торговле, финансах, о богатстве и даже о роскоши" ("О духе законов", III). Он соотносит это различие с республикой и монархией, тогда как их должно соотносить с противоположностью духа античности и современности. Все — граждане республик, подданные монархий — стремятся к обладанию благами, и никто в современном состоянии общества не может сетовать на это. Еще до освобождения Франции народ, более других жаждавший свободы, был также и народом, более других ценившим жизненные блага. Он дорожил своей свободой прежде всего потому, что видел в ней гарантию столь любезных его сердцу благ. Некогда там, где была свобода, люди могли вынести лишения, теперь же везде, где есть лишения, необходимо рабство, чтобы люди покорились. Сегодня гораздо проще народ рабов превратить в спартанский народ, чем научить спартанцев свободе.

Люди, потоком событий вознесенные во главу нашей революции, в силу полученного ими образования были пропитаны идеями античности, ныне ставшими ложными. Но такие идеи превозносились философами, о которых я говорил. Метафизика Руссо, где, подобно молниям, внезапно вспыхивают высочайшие истины и строки пленительного красноречия; суровость Мабли, его нетерпимость, его ненависть ко всем страстям человеческим, его неумная страсть к порабощению всех, его чрезмерные представления о компетенции законов, различие между его советами и существовавшим в действительности, его витийство против богатств и даже против собственности — все это должно было очаровывать людей, разгоряченных недавней победой, законно завоевавших власть и готовых с легкостью распространить ее на все и вся окрест. Для них необычайно ценным был авторитет двух писателей, которые, не будучи заинтересованными во власти, предали анафеме деспотизм людей, но возвели в аксиому строку закона. Эти люди хотели использовать силу общества так, как научили их этому наставники, т. е. как некогда в свободных государствах древности. Они верили, что все должно уступать коллективной воле и что все ограничения индивидуальных прав будут с лихвой возмещены участием в общественной власти.

Вы знаете, господа, что из этого вышло. Лишь свободные институты, опирающиеся на знание духа эпохи, смогли выжить. Обновленное здание древних [институтов] обрушилось, несмотря на все усилия и героические акты, достойные восхищения. Дело в том, что общественная власть во всех смыслах повредила личной независимости, не разрушив потребности в ней. Нация совершенно не согласилась с тем, что идеальная часть абстрактного суверенитета стоит востребованных от нее жертв. И напрасно повторяли ей вслед за Руссо: законы свободы в тысячу раз суровее жестокого ига тиранов. Нация не желала этих суровых законов и, впадая в изнеможение, порой склонна была верить, что иго тиранов предпочтительнее. Обретенный опыт вывел из заблуждения. Нация увидела, что людской произвол гораздо хуже самых плохих законов. Но и законы должны иметь свои ограничения.

Если мне удалось убедить вас, господа, разделить мои умозаключения, которые, я уверен, вытекают из представленных фактов, вы, вслед за мной, признаете истинность следующих принципов.

Личная независимость есть первейшая из современных потребностей. Значит, никогда не надо требовать от нее жертвы ради установления политической свободы.

Из этого следует, что ни один из многих и слишком прославленных институтов, которые в древних республиках ограничивали личную свободу, не приемлем в современности.

На первый взгляд, господа, установление данной истины кажется делом излишним. Некоторые правительства наших дней вроде бы не склонны имитировать античные республики. Тем не менее, сколь малой ни была бы их приязнь к республиканским институтам, они испытывают совершенно непонятную мне привязанность к некоторым республиканским обычаям. Самое досадное, что это именно те обычаи, которые позволяют изгонять, ссылать, обирать людей. Я вспоминаю как в 1802 г. в закон о специальных трибуналах протянули статью, вводившую во Франции греческий остракизм. Бог знает, сколько красноречивых ораторов, чтобы заставить согласиться с данной статьей, говорили нам о свободе Афин и всех тех жертвах, которые люди должны были совершить во имя сохранения этой свободы (впрочем, статья затем была изъята). Точно так же совсем недавно, когда боязливые власти робко попытались направить выборы по

своему усмотрению, некая газета, никоим образом не запятнанная республиканизмом, предложила возродить римскую цензуру, дабы устранить опасных кандидатов.

Я не думаю, что немножко отклонюсь от темы, если в подтверждение своих уверений скажу несколько слов о двух этих столь восхваляемых институтах.

Афинский остракизм основывался на том допущении, что общество обладает всей полнотой власти над своими членами. При этом предположении остракизм мог быть оправдан. И в небольшом государстве, где влияние индивида, уверенного в уважении к себе, со своей клиентелой, своей славой, часто уравновешивало могущество людской массы, остракизм мог казаться полезным. Но в наших условиях индивиды наделены правами, которые общество обязано уважать, и, как я уже отмечал, личное влияние до такой степени растворено во множестве других влияний, равных или превосходящих его по силе, что любое притеснение, мотивированное необходимостью приуменьшить это влияние, бесполезно и, следовательно, несправедливо. Никто не имеет права сослать гражданина, если он не осужден обычным судом в соответствии с писанным законом, наказывающим ссылкой за действие, в котором данный гражданин виновен. Никто не имеет права изгнать гражданина с его родины, собственника — с его земель, оторвать торговца от его занятий, супруга — от супруги, отца — от детей, писателя — от его глубоких размышлений, старика — от его привычек. Всякая политическая ссылка есть политическое преступление. Всякая ссылка, провозглашенная ассамблеей под мнимым предлогом общественного спасения, является преступлением данной ассамблеи против общественного спасения, состоящего всегда исключительно в уважении к законам, в соблюдении форм и в поддержании гарантий.

Римская цензура, как и остракизм, предполагала власть. В республике, все граждане которой впадали из-за бедности в крайнюю простоту нравов, жили в одном городе, не занимались никакой профессией, которая отвлекала бы их внимание от государственных дел, и являлись, таким образом, постоянными зрителями и судьями общественных властей, цензура, с одной стороны, могла иметь больше влияния, а с другой — произвол цензоров сдерживался своего рода моральным надзором со стороны граждан. Но как только расширение границ республики, усложнение общественных связей и совершенствование культуры лишили цензуру того, что выступало для нее одновременно основой и ограничителем, этот институт выродился даже в самом Риме. Значит, не цензура породила благонравие, а простота нравов поддерживала могущество) и действенность цензуры.

Во Франции столь самоуправный институт как цензура был бы одновременно бездейственным и нетерпимым. При нынешнем состоянии общества нравы слагаются из столь тонких, текучих, неуловимых нюансов, что они тысячу раз переменили бы свое существо, если бы их попытались ввести в более строгие рамки. Только [общественное] мнение может покушаться на них, может судить о нравах, поскольку обладает той же природой. Мнение восстало бы против любой власти, которая попыталась бы придать ему большую четкость. Если бы правительство какого-либо народа, подобно римским цензорам, захотело бы заклеить гражданина своим произвольным решением, вся нация опротестовала бы этот приговор, не ратифицировав решение властей.

Все сказанное о переносе цензуры в современность можно отнести также и к многим другим элементам социальной организации, по поводу которых нам все чаще и все более напыщенно ставят в пример античность. К примеру, воспитание. Что нам только не говорят о необходимости позволить государству завладеть подрастающими поколениями, чтобы оно могло формировать их по своему усмотрению, и какими только цитатами наши эрудиты не подкрепляют эту теорию! И персы, и египтяне, и Галлия, и Греция, и Италия поочередно проходят перед нашими взорами. Ах, господа, мы же не персы, подчиненные деспоту, не египтяне, поработанные жрецами, не галлы, которых могли принести на жертвенное заклание их друиды, наконец, не греки и не римляне, коим соучастие в общественном управлении приносил утеху от порабощения в частной жизни. Мы современные люди, каждый из нас желает пользоваться своими правами, развивать свои способности по собственному усмотрению, не препятствуя в том другим; мы хотим сами следить за развитием этих способностей в своих детях, вверенных природой нашей любви — чем горячее, тем просвещеннее любовь. Мы нуждаемся здесь во властях лишь для того, чтобы получить от них те общие средства воспитания, которые они способны собрать. В этом мы подобны путешественникам, использующим казенные дороги, но не спрашивающим у власти направление своего пути. Религия тоже была поставлена под испытание воспоминаниями о прошлых веках. Бравые защитники доктринального

единства цитируют нам законы древних, направленные против чужеземных богов, и обосновывают права католической церкви примером афинян, погубивших Сократа за попытку поколебать политеизм, а также примером Августа, который хотел, чтобы римляне остались верными культу своих отцов, из-за чего немного позже первых христиан стали бросать на растерзание диким зверям.

Воздержимся, господа, от этого восхищения, вспоминая некоторые черты античности. Поскольку мы живем в другое время, я желаю соответствующей этому новому времени свободы; и поскольку мы живем в монархиях, я смиренно прошу монархии не заимствовать у античных республик способы нашего угнетения.

Я повторяю: личная свобода — вот подлинная современная свобода; политическая свобода выступает ее гарантом. Но требовать от нынешних народов, как от древних, пожертвовать всей их личной свободой ради политической свободы — самый верный способ заставить народы отрешиться от личной свободы; когда это удастся, то у них вскоре похитят и свободу политическую.

Как видите, господа, моими замечаниями я вовсе не стремлюсь принизить ценность политической свободы. Из предложенных на ваше рассмотрение явлений я отнюдь не делаю заключений, сходных с выводами некоторых людей, а именно: поскольку древние были свободны, а мы не можем быть свободными по их подобию, умозаключают, что мы обречены быть рабами. Рассуждающие подобным образом хотели бы построить новый общественный порядок из малого числа элементов, только и присущих, по их мнению, нынешнему миру. К числу таких элементов относят предрассудки, пугающие людей; развращающий их эгоизм; одурманивающую их суетность; грубые удовольствия, разоряющие их; деспотизм, предназначенный для управления людьми; надо думать, сюда относят и позитивные знания, и точные науки для более ловкого обслуживания деспотизма. Но было бы странным принимать это за итог сорока веков, в течение которых человеческий разум приобрел столь много нравственных и материальных средств, и я не могу себе подобное принять.

Из всего отличающего нас от античности я вывожу противоположные заключения. Отнюдь не нужно ослаблять гарантии, а следует расширять круг прав. Я вовсе не хочу отказаться от политической свободы, но наряду с развитием других ее форм я требую гражданской свободы. Правительства не больше, чем в древности, имеют право присваивать себе нелегитимную власть. Но правительства, опирающиеся на легитимные основания, имеют меньше, чем прежде, права осуществлять над людьми всевластный произвол. Мы и сегодня обладаем правами, которые существовали у нас всегда, — этими вечными правами соглашались лишь с тем, что законно, рассуждать о своих интересах, быть неотъемлемой частью общественного организма. Но на правительства возложены новые обязанности. Прогресс цивилизации, изменения, привнесенные веками развития, требуют от власти больше уважения к привычкам, чувствам и независимости индивидов. И власть должна простирать над всем этим более осторожную и легкую длань. Такая осмотрительность власти, входящая в число ее самых строгих обязанностей, отвечает, разумеется, и ее собственным интересам; коль скоро свобода, пригодная современным людям, отличается от свободы древних, то и деспотизм, возможный в античности, немисливо перенести в новые времена. Из-за того, что зачастую мы менее внимательны к политической свободе, чем должно, и в нашем обычном состоянии менее, чем должно, пристрастны к ней, можно заключить, что подчас мы напрасно пренебрегаем предоставляемыми политической свободой гарантиями. Но в то же время, поскольку мы больше, чем древние, ценим личную свободу, мы более настойчиво и умело будем защищать ее от покушений. И для защиты мы наделены средствами, которых не было в античности.

По мере роста торговли произвол над нашим существованием оказывается более гнетущим, чем прежде, — раз наши сделки становятся разнообразнее, то и произвол должен умножаться, чтобы накрыть их все. Вместе с тем, именно торговля позволяет легче уклоняться от самодурства властей, ибо она меняет природу собственности, которая обретает после всех изменений почти полную неуловимость.

Торговля наделяет собственность новым качеством — обращением. Без него собственность есть только пользование. Власть всегда способна воздействовать на пользование, ибо может отнять владение. Обращение же ставит невидимые и непреодолимые препятствия для подобных действий общественных властей.

Влияние торговли простирается еще дальше: она не только освобождает индивидов, но, создав кредит, ставит власти в зависимость.

Деньги, как говорит один французский автор, есть самое опасное оружие деспотизма, вместе с тем и самая крепкая узда для него: кредит подчинен мнению, сила бесполезна, деньги скрываются или убегают, все операции государства приостанавливаются. Кредитные отношения не имели подобного влияния у древних: их правительства были гораздо сильнее частных лиц. В наши дни частные граждане сильнее политических властей: богатство есть сила вездесущая, более соотносимая со всеми интересами и оттого гораздо более реальная, вызывающая большее послушание. Власти угрожают, богатство вознаграждает; от властей можно ускользнуть, обманув их; чтобы добиться милости богатства, ему нужно служить; и последнее должно возобладать.

Вследствие тех же причин индивидуальное существование оказывается менее поглощенным политической жизнью. Индивиды могут перемещать свои сокровища на дальние расстояния; они всегда сохраняют при себе все блага частной жизни. Торговля сблизила нации, наделила их почти схожими нравами и обычаями; главы государств могут быть врагами, народы являются соотечественниками.

Пусть власть, наконец, смирится с таким положением дел — нам нужна свобода, и мы ее добудем. Но поскольку свобода, которая нам нужна, отлична от свободы древних, она требует и иной организации, нежели та, что соответствовала античной свободе. В античности человек считал себя тем более свободным, чем больше времени и сил он посвящал осуществлению своих политических прав. При годном для нас виде свободы, чем больше времени осуществление политических прав оставляет для наших частных интересов, тем драгоценнее для нас она сама,

Из сказанного, господа, вытекает необходимость представительной системы правления. Представительная система есть не что иное, как организация, посредством которой нация перекладывает на нескольких индивидов то, что она не может или не хочет выполнить сама. Бедняки сами занимаются своими делами, богатые же нанимают себе управляющих. Такова история древних народов и народов современных. Представительная система есть полномочия, доверенные определенному числу людей всей народной массой, желающей, чтобы ее интересы были защищены, однако, не имеющей времени защищать их всякий раз самостоятельно. Но богатые люди, если они не безрассудны, наняв управляющих, со всем вниманием и строгостью следят, как те выполняют свои обязанности, предупреждая нерадивость, неумение, продажность. Дабы иметь возможность судить об отправлении службы своими уполномоченными, осторожные доверители входят в курс всех дел, ведение коих перепоручают другим. Точно также и народы, взявшие представительную систему в целях пользования приемлемой для них свободой, должны осуществлять постоянное и активное наблюдение за своими представителями и оставить за собой право через определенные промежутки времени (им не следует быть слишком продолжительными) устранить их, если они обманут ожидания, и лишиться полномочий, которыми они злоупотребили.

Поскольку современная свобода отлична от античной, ей угрожают опасности другого рода.

Угроза античной свободе заключалась в том, что люди, занятые исключительно обеспечением раздела общественной власти, оставляли без должного внимания индивидуальные права и блага.

Угроза современной свободе состоит в том, что, будучи поглощены пользованием личной независимостью и преследуя свои частные интересы, мы можем слишком легко отказаться от нашего права на участие в осуществлении политической власти.

Носители власти не упускают случая склонить нас к этому. Они с такой готовностью спешат избавить нас от любых хлопот, за исключением уплаты налогов и послушания. Они могли бы сказать нам: "Какова в сущности цель всех ваших усилий, что побуждает вас к трудам, являясь предметом чаяний? Разве не счастье? Позвольте же нам создать счастье, и мы вам его дадим!" Нет, господа, мы не позволим вам это сделать! Сколь трогательной ни была бы ваша забота, попросим власть оставаться в своих рамках. Пусть она ограничится тем, что будет справедливой, мы же позаботимся о собственном счастье.

Сможем ли мы быть счастливыми, благодаря нашим благам, если эти последние будут отделены от гарантий? И где мы найдем эти гарантии, если откажемся от политической свободы? Отказ от нее, господа, сродни намерениям безумца построить на песке дом без фундамента под тем предлогом, что он собирается жить только на втором этаже.

Впрочем, господа, в самом деле счастье, каким бы оно ни было, являет собой единственную цель рода человеческого? В этом случае наше поприще оказалось бы слишком ограниченным и наше предназначение — чересчур приземленным. Вряд ли кто из нас захотел бы растрачивать попусту свои нравственные качества, опошляя желания, отказываясь от деятельности, славы, глубоких и благородных чувств, чтобы превратиться в животное и быть благодаря этому счастливым. Нет, господа, я призываю в свидетели лучшую часть нашей природы — это благородное беспокойство, преследующее и терзающее нас, это горячее стремление распространить наши познания и развить способности: не к одному только счастью, а именно к совершенствованию влечет нас наша судьба. Политическая же свобода есть самое мощное, самое решительное средство совершенствования, ниспосланное нам небесами.

Политическая свобода выносит на изучение и рассмотрение граждан их самые заветные интересы, развивает разум, облагораживает мысли, устанавливает между всеми людьми своего рода интеллектуальное равенство, составляющее славу и могущество народа.

Вы видите, таким образом, как возвышается нация при появлении в ней первого же института, делающего возможным регулярное осуществление политической свободы. Вы видите, как наши сограждане из любых классов и всех профессий, покидая сферу обычных занятий, свой частный промысел, внезапно поднимаются на уровень важных обязанностей, доверенных им конституцией, — здраво делают выбор, энергично сопротивляясь, разоблачая хитрости, не бояться угроз, благородно противиться соблазнам. Обратите внимание на патриотизм — чистый, глубокий и искренний, торжествующий в наших городах и оживляющий все, вплоть до деревушек, проникающий в наши мастерские, воодушевляющий селеня, пронизывающий сознанием наших прав и необходимости гарантий справедливый и здравый разум земледельца и искусного торговца, которые знают бедствия, перенесенные в истории и достаточно просвещены в том, чем излечиться от этих бедствий. Эти люди охватывают взглядом всю Францию и, выказывая признательность нации, три десятилетия спустя после революции выражают верность принципам своим голосованием за одного из самых знаменитых защитников свободы (6).

Я далек, господа, от непризнания любого из двух видов свободы, о которых вам говорил. Нужно, и я это показал, научиться сочетать их друг с другом. Как писал известнейший автор труда по истории средневековых республик (7), общественные институты должны исполнять предназначения рода человеческого; они тем лучше достигают своих целей, чем возможно большее число граждан поднимают до высот нравственного достоинства.

Труд законодателя не завершается, когда благодаря ему жизнь народа становится спокойной. Даже когда этот народ доволен, остается еще много дел. Общественные институты должны завершить нравственное воспитание граждан. Уважая их личные права, оберегая их независимость, совершенно не вмешиваясь в их занятия, эти институты должны, тем не менее, оказывать влияние на общество во имя его блага, чтобы призвать граждан способствовать своей решимостью и своим голосованием осуществлению власти, гарантируя им взамен право контроля и надзора посредством волеизъявления; институты должны воспитывать людей, практически готовя их к исполнению высоких функций, одновременно наделяя их возможностями и внушая им желание браться за это дело.

1. Атенеум — Товарищество свободного общедоступного образования (1786—1848). В 1817—1818 гг. Б. Констан представил там курс "Чтения по истории и религиозному чувству", а в 1819 г. — "Основные максимы английского государственного устройства".

2. Лакедемон — Спарта.

3. Эфоры — магистрат из пяти эфоров — основной орган, направлявший и координировавший всю деятельность системы гражданских союзов в Спарте. Они строго

следили за воспитанием подрастающего поколения, осуществляли надзор за поведением граждан всех возрастов. Эфоры назывались народом Спарты на один год. Античные авторы называли их власть "близкой к тирании" (См., например, Аристотель, Политика. II).

4. Терпандр — поэт и музыкант с Лесбоса, в разных версиях — современник Гомера или Ликурга. Констан вспоминает легендарный эпизод: призванный в Спарту оракулами и сумевший предотвратить там бунт, Терпандр был тем не менее осужден эфорами за то, что добавил лишнюю струну на свою лиру.

5. Ж. -А. -Н. Кондорсе упоминал об этом в своих работах "Записка об общественном воспитании", "Доклад и проект декрета об общей организации общественного воспитания" (1792 г.).

6. Констан имеет в виду маркиза Лафайета, депутата от Сарта в 1818 г.

7. Ж. -К. -Л. Сисмонди, Подразумевается его работа "История итальянских республик в средние века" (1808).

Перевод с французского и примечания кандидата

философских наук М. М. Федоровой